

# Глава III. «За нашу и вашу свободу»

“Монах воинствующей церкви революции, он бродил по свету, проповедуя отрицание христианства, приближение страшного суда над этим феодально-буржуазным миром, проповедуя социализм всем и примирение — русским и полякам.

А. Герцен

«Я — русский и люблю мою страну, вот почему я подобно очень многим другим русским горячо желаю торжества польскому восстанию.

Угнетение Польши — позор для моей страны, а свобода Польши послужит, быть может, началом нашего освобождения» (т. III, стр. 257). Этими словами Бакунин впервые публично высказал свою ориентацию в польском вопросе.

Статья, написанная 6 февраля 1846 года в виде письма в редакцию газеты «Конституционалист», была откликом на преследование монахинь-униаток в Литве и Белоруссии, о котором много писала в те дни парижская пресса.

Польская эмиграция с большим интересом отнеслась к этому выступлению Бакунина. Однако когда он через несколько дней отправился к деятелям Польской Централизации с тем, чтобы предложить им «совокупное действие на Русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии», то получил отказ. Проникнутые крайним национализмом, да и не привыкшие к сочувствию, а тем более к поддержке со стороны русских, лидеры Польского демократического общества недоверчиво встретили эту попытку к сближению и союзу.

Для Бакунина наступило нелегкое время. Отсутствие живой деятельности, неопределенность собственного положения тяготили его. И хотя в письме от 5 августа 1847 года к Луизе Фохт он писал, что «всецело бросился в польско-русское движение», это были только слова.

Движения такого летом 1846 года еще не было, да и позиция поляков была осторожной.

Другого конкретного дела он не видел. Ему было 33 года, а он все еще не пришел к чему-либо положительному, все еще «состоял в поисках жизни и истины».

«От конца лета 1846 года до ноября 1847 года я... — писал он, — оставался в полном бездействии, занимаясь по-старому науками, следуя с трепетным вниманием за возрастающим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая еще ничего положительного».

«Я... жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и со своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия... Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование».[98] Эти слова Бакунина отражают, очевидно, то настроение, которое лишь иногда овладевало им.

Бедность и борьба с обстоятельствами никогда, как известно, не угнетали его. Отсутствие средств к существованию уже несколько лет стало для него нормой жизни. Его крайне скромные потребности в эти парижские годы помогал обеспечивать А. Рейхель, зарабатывавший сам одними уроками музыки. Однако, как всегда, теми небольшими деньгами, которые время от времени появлялись, Бакунин готов был поделиться с друзьями.

Так, А. Панаева рассказывает о том, как в 1847 году он «спас от голода» одно русское семейство, оказавшееся в Париже без денег. Сам он, писал Фохт, послал Августу Беккеру 50 франков, так как тот находился «в очень тяжелом положении», и сожалел, что не мог послать более.

Итак, отсутствие денег не было причиной его тоски в это время. Не было у него и политического пессимизма. Напротив, европейские дела внушали ему скорее надежды на близкую революцию. Он писал, что «во всем и во всех чувствуются все более определенные очертания брожения. Высшее общество и официальный мир в большой тревоге. ...Говорят о скором и серьезном восстании народа» (т. III, стр. 265).

«Рейхель женился, — сообщал он в том же письме к Гервегам, — я же жду своей, или, если хотите, нашей суженой революции».

В своем ожидании Бакунин оказался значительно дальновидней Герцена, который, приехав в Париж и пробыв там несколько месяцев, не заметил ветра революции, не понял, что Франция стоит накануне великих событий.

Так или иначе, но ни положение политическое, ни дела личные не могли вызвать того отчаяния, о котором писал Бакунин в «Исповеди». Источник этих временных настроений был один — отсутствие живой, конкретной революционной деятельности.

Круг старых русских друзей, собравшихся летом 1847 года в Париже, помог Бакунину избавиться от чувства одиночества.

Герцен приехал в Париж в марте 1847 года. Вырвавшись, наконец, из-под самодержавного гнета, восторженный и счастливый, он в первый же день отправился на улицы «бродить зря... искать Бакунина, Сазонова... Вот rue St. Honori, Елисейские Поля — все эти имена,

сроднившиеся с давних лет... да вот и сам Бакунин». Шел он с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь, махая сигареткой. «На этот раз, — продолжает Герцен, — проповедь осталась без заключения: я ее прервал и пошел вместе с ними удивлять Сазонова моим приездом».[99]

Вскоре (в июле 1847 г.) в Париж из Зальцбруна приехали Белинский, лечившийся там, и Анненков. На Avenue Marigny, где жил Герцен, снова, как и в Москве, собрался старый круг друзей. Здесь были Тургенев, Сазонов, Анненков, Белинский, Бакунин. Но отношения, так же как и взгляды этих людей, сильно изменились. Слишком разномыслились их судьбы за последние годы. Прожив уже несколько лет на Западе, войдя в круг политических интересов и стремлений лидеров европейской демократии, Бакунин был настроен значительно радикальнее Герцена. Его интересовали конкретные сведения о движении в России, о собственных планах и надеждах Герцена. Бакунин и Сазонов, вспоминая Герцена, были поражены и недовольны, что новости, «мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозициях (1847 г.), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы „всемирной“ революции и французских вопросов, чтобы понимать, что у нас появление „Мертвых душ“ было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали».[100]

Герцен был прав. Бакунин действительно отошел от российской действительности, да и, по существу, раньше знал ее недостаточно. Однако главные его стремления были обращены именно к русской жизни, к возможным путям освобождения и развития России. Друзья много спорили по этим вопросам, сравнивали жизнь Франции и России, говорили о буржуазии и ее роли в общественном развитии.

Но споры с русскими друзьями, споры и долгие беседы с Прудоном не отвлекали, однако, Бакунина от его идей о польско-русском союзе. 12 октября 1847 года он писал Варнгагену: «В настоящее время я работаю над сочинением о России и Польше, которое я не замедлю преподнести Вам, как только оно будет закончено».[101] Примирение этих двух народов, столь долго враждовавших друг с другом, их союз, основанный на единстве расы, на взаимной независимости и свободе и спаянный общей оппозицией императорскому деспотизму, представляется мне существенным условием их процветания и могущества, и я решил посвятить все мои слабые таланты и все мои убеждения и силы служению этому великому делу» (т. III, стр. 266).

Связь русского и польского революционного движения в то время стала уже традиционной. Декабристы первыми перешагнули пропасть, разделявшую русских и поляков. Скованные одной цепью народы обеих стран должны были вместе бороться против царизма. Но если в Польше, испытывавшей двойной гнет, по существу, не прекращалось революционное национально-освободительное движение, то в России борьбу против самодержавия вели лишь дворянские революционеры да немногие еще выходцы из разночинной среды, никак

не связанные с народом. В этих условиях Польша могла стать передовым отрядом в борьбе против царизма, поднять и увлечь за собой революционные силы России.

Именно поэтому мысли русских революционеров обращались к полякам, уже не раз показавшим миру свое мужество в борьбе с русским самодержавием.

Бакунин впервые обратился к идее польско-русского революционного союза еще в 1844 году в Брюсселе, под влиянием Лелевеля. Выступив в 1844 году в газете «Конституционалист», он попытался сблизиться с поляками. Тогда этот шаг не имел практических последствий, но вот спустя год он, наконец, получил возможность реального участия в создании союза польских и русских революционеров.

29 ноября 1847 года исполнялась очередная годовщина польского восстания 1831 года. В этот день в Париже собиралось традиционное собрание поляков и сочувствующих им французов. На этот раз Бакунин получил приглашение выступить на нем.

В «Исповеди» он рассказывает, как, будучи болен, он сидел дома «с выбритой головой», когда к нему пришли с приглашением двое поляков. «Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании».[102]

Речь его была направлена прежде всего против российского самовластия. «У нас нет ни свободы, ни уважения к человеческому достоинству, — говорил он. — У нас царит отвратительный деспотизм, не знающий никаких границ своей разнузданности, никаких препон своим поступкам. У нас нет никаких прав, никакой справедливости, никакой защиты против произвола. У нас нет ничего из того, что составляет достоинство и гордость нации». Не лучше обстоит дело и с внешнеполитическим положением России. «Было ли, — восклицал Бакунин, — начиная с 1815 года хоть одно благородное дело, против которого мы бы не боролись, хотя бы одно злодеяние, которого бы мы не поддерживали; хотя бы одна крупная политическая несправедливость, где мы не были бы подстрекателями или сообщниками?»

Далее Бакунин называл врагов самодержавной власти, способных, по его мнению, подняться на борьбу. Это прежде всего огромная масса крестьян, «восстания которых с каждым днем учащаются», потом «многочисленный промежуточный класс населения, состоящий из весьма разнородных элементов»,[103] затем армия и, наконец, часть дворянской молодежи.

«Господа, — призывал Бакунин, — от имени этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. Да придет же этот великий день примирения, день, когда русские, объединенные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело и против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, этот гимн славянской свободы: „Еще Польша не сгинела!“» (т. III, стр. 270–279).

Успех был огромным. Аплодисменты не раз прерывали оратора, а последние слова его были встречены бурной овацией.

14 декабря речь была напечатана в «Реформе».

В предисловии от редакции говорилось, что речь русского эмигранта исполнена «самых благородных чувств» и содержит «совершенно новые и чрезвычайно смелые взгляды на положение России». Вскоре текст речи появился в немецкой и чешской печати.

Если польская, да и вся демократическая общественность Европы с восторгом встретила речь Бакунина, то на правящие круги России она, естественно, произвела обратное впечатление. Союз демократических сил Польши и России был действительно опасен царизму.

5 декабря российский посол в Париже Н. Д. Киселев сообщил о происшествии министру иностранных дел К. Р. Нессельроде и одновременно потребовал от правительства Гизо высылки Бакунина из Франции.

Реакционный кабинет министров под давлением российского и австрийского правительств 9 декабря принял декрет о высылке русского эмигранта. 14 декабря, в день опубликования речи в «Реформе», это решение было сообщено Бакунину.

Демократические круги Парижа попытались защитить Бакунина, но тщетно, он вынужден был вскоре покинуть пределы Франции.

Высылка Бакунина совпала с появлением слуха о том, что он не кто иной, как агент царского правительства. Несмотря на полную, казалось бы, абсурдность этого утверждения, слух этот, раз появившись, не исчезал многие годы, доставляя Бакунину немало горьких минут.

Вяч. Полонский и Ю. Стеклов пытались объяснить появление этой версии стараниями российского посла Киселева. Действительно, схема казалась простой. Именно российское правительство, более всего заинтересованное в том, чтобы скомпрометировать Бакунина, сделать невозможным его дальнейший союз с поляками, вполне могло пойти на распространение подобных слухов. Да и примеры подобной «административной грации» встречались в русской истории.

Однако, очевидно, здесь дело было сложнее. В примечаниях к III тому сочинений Бакунина тот же Стеклов приводит один интересный документ. Это доклад парижского префекта полиции министру внутренних дел от 6 февраля 1847 года (т. е. задолго до польского митинга):

«Некий Бакунин, русский офицер, давно уже известный моей администрации в качестве активного участника политических происков, неоднократно указывался мне, как человек, стремящийся установить связь с польской эмиграцией. Мое внимание было также обращено на него в 1845 году по случаю крайне резких его нападок на особу российского императора, допущенных им в газете „Реформа“. Мне сообщают, что этот иностранец привлекает и принимает у себя значительное количество польских эмигрантов; уверяют, что хотя он и выступает в качестве самого преданного их друга, но вместе с тем стремится раздуть среди них разногласия и восстановить их против Франции и французского правительства.

Некоторые лица утверждают, что указанный Бакунин является тайным агентом русского правительства, которому поручено разведать намерения эмиграции и на которого, в частности, возложена миссия внести в нее раскол» (т. III, стр. 486).

Из документа этого становится ясно как то, что слухи эти появились еще до произнесения Бакуниным его речи, так и то, что первоисточником их не было русское посольство. Скорее всего они возникли в среде демократической польской эмиграции. Часть поляков поверила этому слуху. Уж слишком ново и малопонятно для них было появление союзника в лице русского дворянина.

Сам Бакунин так и остался в неведении относительно источника всех этих разговоров. Однако когда он в январе 1848 года впервые узнал о том, что в Париже говорят о нем, то, естественно (так же как и позднейшие исследователи), увидел источник слухов «в русском правительстве и его агентах».

Бурные события, с которых начался 1848 год, на несколько месяцев отвлекли Бакунина от этого вопроса.

В январе, живя в Брюсселе, он интересовался лишь польскими делами. Снова встретившись с Лелевелем, он отнесся к нему более критически, чем в первый раз. Другой лидер поляков, Винцент Тышкевич, показался ему лишь «хорошим изданием старой истории». Как человек новый, приглядывавшийся к польскому движению со стороны, он замечал то, чего не видели деятели польской эмиграции, погруженные часто во внутренние дразги, обращенные в значительной мере в прошлое и не слышавшие тех «сильных и свежих струн... единственно способных заставить трепетать сердце нового поколения».

Наиболее теплые дружеские отношения поддерживал он в это время с Михаилом Лемпицким, с которым еще в Париже говорил о судьбах польского и русского движения, и, что особенно важно, о роли крестьянской общины в славянском мире, и о том, что она ничуть не похожа на фаланстер, предлагаемый французскими утопистами.[104]

Постепенно у Бакунина складывалась революционно-демократическая мелкобуржуазная по своей классовой сути система взглядов.

В западноевропейском движении Бакунин был к этому времени, по существу, крайним демократом, а во взглядах на Россию — крестьянским социалистом. Именно поэтому Бакунин теперь не смог понять Маркса. Встретились они в Брюсселе, куда Маркс был выслан двумя годами ранее. Контакта между ними не установилось. Строгая логика Маркса, его беспощадная критика всех мелкобуржуазных представлений показалась Бакунину лишь проявлением «теоретического высокомерия». Его больше влекло в среду польской эмиграции.

Поляки на этот раз отнеслись к нему иначе. В первые же дни пребывания в Брюсселе он получил приглашение выступить на польском собрании в память пяти казненных декабристов и польского патриота С. Конарского, повешенного в 1839 году. Цель собрания, по словам Бакунина, была в том, чтобы «сделать дальнейший шаг к сближению наших обеих стран».

Собрание состоялось 14 февраля 1848 года. «Согласно трогательному обычаю изгнанников, — писала „Реформа“, — председательствование было предоставлено теням мучеников, изображавшихся венками из иммортелей с именами поляка Конарского и русских Пестеля, Рылеева, Бестужева, Муравьева и Каховского».

Текст речи Бакунина не сохранился, сам же он писал в «Исповеди», что «много говорил о России, о ее прошедшем развитии..., говорил также о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую Европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разоружение Австрийской империи, я кончил следующими словами: будем готовы, и, когда час пробьет, каждый из нас исполнит свой долг».[105]

Не прошло и десяти дней после выступления Бакунина, как революция действительно началась. Она вспыхнула 23 февраля в Париже.

Но это было лишь начало движения, охватившего всю Западную Европу. В течение 1848–1849 годов революции прокатились по Франции, Германии, Италии, Австрии, потрясая до основания монархические режимы.

Революции в разных странах были различны по своим целям и задачам. Различие это зависело от конкретных исторических условий, от соотношений классовых сил, от своеобразия обстановки в каждой отдельной стране. Во Франции, где с феодализмом и абсолютизмом было покончено еще во время Великой революции 1789–1794 годов и где король Луи-Филипп представлял лишь интересы финансовой олигархии, стояла задача свержения ее господства и установления буржуазной республики. В Германии основная задача революции состояла в ликвидации политической раздробленности, создании государственного единства. Похожая задача стояла и перед раздробленной Италией, но здесь она дополнялась необходимостью освобождения северной части страны от австрийского ига. В самой же Австрии революция должна была покончить с реакционным режимом монархии Габсбургов и освободить угнетенные, в частности славянские, народы от национального порабощения.

Активное участие народа, а главное — рабочих, впервые в таком широком масштабе проявивших себя как класс, придавало демократический характер революциям, буржуазным по своим задачам.

Во Франции в свержении монархии участвовали различные силы. Здесь были и социалистические доктринеры, и республиканцы, которым, по словам Маркса, «требовался весь старый буржуазный порядок, но только без коронованного главы; династическая оппозиция, которой случай преподнес вместо смены министерства крушение династии; легитимисты, стремившиеся не сбросить ливрею, а только изменить ее покррой, — таковы были союзники, с которыми народ совершил свой февраль... Февральская революция была красивой революцией, революцией всеобщих симпатий, ибо противоречия, резко выступившие в тот момент против королевской власти, еще дремали мирно, рядышком, находясь в неразвитом виде, ибо социальная борьба, составлявшая их подоплеку, достигла пока лишь призрачного существования, существования фразы, слова».[106]

Вот в эту-то пору медового месяца революции Бакунин и оказался среди ее участников.

«Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию, — писал он впоследствии. — Но паспорт был не нужен, первое слово, встретившее нас на границе, было „La Republique est proclamée a Paris“».[107]

Поезда не ходили, и до Валансьена Бакунин шел пешком. По пути он видел толпы ликующего народа, красные знамена на всех улицах, площадях, общественных зданиях.

От Валансьена до Парижа пришлось добираться где в объезд, где пешком, но так или иначе, а через три дня — 26 февраля — он был уже в Париже. Столица Франции поразила его. Баррикады покрывали почти все ее улицы. Между грудями камней, сломанной мебелью, перевернутыми экипажами занимали боевые посты вооруженные с головы до ног рабочие в живописных блузах, почерневшие от пороха.

Из окон домов со страхом выглядывали толстые лавочники с лицами, поглупевшими от ужаса. Улицы к бульвары были свободны от той толпы, которая обычно заполняла их. Не было франтов с тросточками и лорнетами, не было нарядных дам, не было экипажей.

Их место заняли «благородные увриеры, торжествующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победой!».[108]

Чувствуя себя удивительно на месте в этой бурлящей революционной обстановке, Бакунин устроился жить не далеко от Люксембургского дворца, в казармах гвардии Коссидьера.

Один из отважных руководителей революции, Марк Коссидьер, в ходе баррикадных боев овладел префектурой и создал из членов тайных заговорщических обществ и политических заключенных пролетарского происхождения вооруженную охрану революционной власти, носившую название монтаньяров и как бы продолжавшую традицию старых санкюлотов.

«Из всех вождей февральской революции Коссидьер, — по словам Маркса, — единственный человек веселого нрава. Представляя в революции тип loustic (весельчака. — Н. П.), он был вполне подходящим вожаком старых заговорщиков по профессии. Чувственный и остроумный, старый завсегдатай кафе и кабачков самого различного рода, придерживавшийся принципа — живи и жить давай другим, при этом по-военному отважный, скрывающий под добродушным видом и свободой манер большую пронырливость, хитрость и осмотрительность, а также тонкий дар наблюдения, он обладал известным революционным тактом и революционной энергией».[109]

В 24 часа Коссидьер превратил префектуру в крепость, наполненную монтаньярами, бывшими большей частью в дружеских отношениях со своим префектом. В эту-то обстановку, полную революционных страстей, бесконечных споров и невероятных проектов, и попал Бакунин. «Он не выходил из казарм монтаньяров, — писал Герцен, — ночевал у них, ел с ними... и проповедовал коммунизм et l'égalité du salaire (и равенство заработной платы), нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрии, революцию en permanence (непрерывно), войну до избиения последнего врага».[110]

По словам самого Бакунина, месяц, проведенный им в революционном Париже, был временем «духовного пьянства».

«Я вставал в пять, в четыре часа поутру, а ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях — одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялось в одной бесчисленной толпе, — говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия».[111]

Единственная статья, написанная им за этот месяц и опубликованная в «Реформе», была посвящена, конечно, февральской революции. Он отметил в ней, что демократическая революция еще не закончена, а только начинается, что она еще победоносно обойдет всю Европу. Разрушится «чудовищная» Австрийская империя, итальянцы и немцы провозгласят свои республики; польские республиканцы вернутся к своим очагам.

«Революционное движение прекратится только тогда, когда Европа, вся Европа, не исключая и России, превратится в федеративную демократическую республику.

Скажут: это невозможно. Но осторожнее! Это слово не сегодняшнее, а вчерашнее. В настоящее время невозможна только монархия, аристократия, неравенство, рабство.

...Эта революция, призванная спасти все народы, спасет также и Россию, я в этом убежден» (т. III, стр. 296).

Пророчество Бакунина стало, казалось, сбываться уже через два дня после опубликования статьи. Революция началась в Австрийской империи. Оставаться в этих условиях далее во Франции Бакунину не было смысла.

«Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе. Туда стремится теперь Польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я для того, чтоб действовать в одно и то же время на русских и на поляков». Если бы Польша восстала и Варшава стала бы независимой, то «революционная война велась бы у самой русской границы, потому что полная горючего материала Россия ждет только воспламеняющей искры»[112] — таков был ход его рассуждений.

Но как содействовать восстанию Польши и освобождению России? Ни друзей, разделявших его весьма неопределенные планы и готовых следовать за ним, ни какой-либо организации, ни денег у Бакунина не было. Но это обстоятельство ничуть не смущало его. За деньгами он решил обратиться непосредственно к Временному правительству Франции. Свое письмо он адресовал четверем его демократическим членам: Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю Роллену.

«Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в герцогство Познаньское, для того чтоб действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в

деньгах и прошу демократических членов провизорного правительства дать мне 2000 франков, не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа, обещая возратить эту сумму, когда будет только возможно».[113]

Посоветовавшись с польскими эмигрантами, Флокон выдал Бакунину деньги и предложил писать ему с места действия для газеты «Реформа».

Герцен впоследствии весьма вольно изложил эпизод отъезда Бакунина из Парижа.

«Префект с баррикад, делавший „порядок из беспорядка“, Коссидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его в самом деле к славянам с братской окколадой (объятьем. — Н. П.) и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. „*Quel Homme! Quel Homme!*“ („Какой человек! Какой человек!“ — Н. П.), — говорил Коссидьер о Бакунине. — В первый день революции это просто клад, а на другой день его надобно расстрелять».[114]

Ни Коссидьер, ни Флокон «не выживали» Бакунина и тем более не придумывали ему поручений к славянам. Ехал он потому, что именно там, на границе с Россией, видел свое место.

Получив у Коссидьера два паспорта, один на свое, другой на чужое имя, 31 марта 1848 года он сел в дилижанс и направился в Страсбург.

«Если бы меня кто в дилижансе спросил о цели моей поездки и я бы захотел отвечать ему, — писал он в „Исповеди“, — то между нами мог бы произойти следующий разговор:

— Зачем ты едешь?

— Еду бунтовать.

— Против кого?

— Против императора Николая.

— Каким образом?

— Еще сам хорошо не знаю.

— Куда же ты едешь теперь?

— В Познаньское герцогство.

— Зачем именно туда?

— Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции.

— Какие у тебя средства?

— 2000 франков.

— А надежды на средства?

— Никаких определенных, но авось найду.

— Есть знакомые и связи в Познаньском герцогстве?

— Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю.

— Есть рекомендательные письма?

— Ни одного.

— Как же ты без средств собираешься бороться с русским царем?

— Со мной революция, а в Познани надеюсь выйти из своего одиночества».[115]

По дороге он останавливался на несколько дней во Франкфурте, Кёльне, Берлине, Лейпциге, присматривался, надеялся увидеть тот революционный подъем, который так увлек его во Франции.

Но немцы сильно отличались от экспансивных французов. Ни ликующих толп с красными знаменами, ни баррикад он не встретил на улицах Франкфурта и Кёльна.

«Странная вещь! — писал он в письме к Анненкову. — Большая часть Германии в беспорядке, но без собственной революции, что не мешает немцам говорить, запивая рейнвейном, „Unsere Revolution“ („Наша революция“. — Н. П.)».

Однако за внешним спокойствием он видит силы, способные подняться на борьбу. «Что живо в Германии, — пишет он далее, — это начинающий двигаться пролетариат и крестьянское сословие; здесь будет еще революция страшная, настоящий потоп варваров; потоп этот смое с лица земли развалины старого мира, и тогда доброму, говорливому Bürger'у (бюргеру. — Н. П.) будет плохо, очень плохо» (т. III, стр. 298).

В Берлине Бакунин не хотел задерживаться более двух дней, а следовать дальше, в Позен — ближе к границам Польши и России. Однако планы его были неожиданно нарушены. На второй день своего пребывания в Берлине он был арестован.

В «Исповеди» он писал, что произошло это, потому что его приняли за Гервега. На самом деле все было несколько иначе.

Гервег в это время, находясь в Париже, формировал корпус из немецких рабочих-эмигрантов для революционного похода в Германию. Затея эта была авантюристической и

потерпела вскоре полный крах. Полиция, зная о действиях Гервега, естественно, следила за домом его родных в Берлине. Явившийся туда с визитом Бакунин был принят за эмиссара Гервега, тем более что ехал он из Парижа.

После допроса ему было предложено немедленно покинуть город, причем президент полиции Минутоли, запретив ему следовать в герцогство Познаньское, назвал Бреславль как город, где, по его мнению, польское патриотическое движение было незначительным и где русский агитатор не мог принести большого вреда.

Из двух паспортов, врученных Бакунину Коссидьером, один, на его собственное имя, был отобран Минутоли. К другому же, на имя Леонарда Неглинского, полицейский президент добавил еще один, «на имя Вольфа или Гофмана, не помню, — писал Бакунин потом, — желая, очевидно, чтобы я не терял привычки ездить с двумя паспортами». Обстоятельство это может показаться странным: начальник полиции вручает высылаемому фальшивый паспорт. Зачем? Оказывается, он действительно пытался помочь Бакунину скрыться, но не от своих агентов, а от агентов III отделения. Такая забота объясняется не личными симпатиями Минутоли к Бакунину, а его политическими махинациями. Минутоли принадлежал к антироссийской группировке прусских бюрократов. Выдача Бакунина России была не в его интересах, но вред, который тот мог причинить прусским властям, заставлял Минутоли преследовать русского агитатора в пределах Германии. В сопровождении полицейского Бакунин покинул Берлин и направился в Бреславль.

По пути произошла еще одна небольшая задержка — в Лейпциге, на этот раз по инициативе Бакунина.

Старый приятель А. Руге находился в это время в городе, где на выборах в предварительный германский парламент должна была баллотироваться его кандидатура.

Во время предвыборного митинга Руге передали, что его хочет видеть «господин из Парижа», он ответил, что занят, «тогда, — пишет он, — мне передали карточку с именем Бакунина. Этому я не мог противостоять. Я поспешил выйти и нашел его в коляске.

— Садись сюда, — закричал он, — брось своих филистеров и поезжай со мной в Hotel du Pologne. Я тебе расскажу бесконечно много.

Я протестовал и просил его дать мне пару часов времени, выражая твердое убеждение, что в мое отсутствие меня вычеркнут из списка кандидатов.

— Пойдем, старый друг, мы выпьем бутылку шампанского, а тех оставим выбирать, кого они хотят. Ничего из этого не выйдет — одним обществом упражнения в красноречии больше, и больше ничего! Ты разве много ожидаешь?

— Не очень много. Но нельзя их бросить. Одни они не выпутаются из затруднений.

— Ну так ты, наконец, действуешь лишь из сострадания! История будет испорчена еще раз, и если тебя при этом не будет, то ты не будешь в ответе. Ну, садись сюда!»

Руге дал себя уговорить и отправился вместе с Бакуниным. Кандидатура Руге тем временем была забаллотирована, и, когда он упрекнул за это Бакунина, тот ответил: «Ну когда пойдет наша славянская революция, мы тебя вознаградим за неблагодарность этих саксонских филистеров».

Весь вечер друзья провели вместе, предаваясь юмору и легкому разговору. Причем каждый раз, «когда я, — писал Руге, — собирался уходить, мой любезный русский удерживал меня, восклицая: „Руге, ты знаешь, что утрачено во мгновение, того никакая вечность не возвратит“».[116]

На другое утро Бакунин уехал в Бреславль, где и пробыл около месяца. Он быстро сошелся здесь с местными демократами, был везде хорошо принят «ради своей симпатичной и остроумной личности», так по крайней мере говорит о его успехах в Бреславле Руге, но главное, к чему стремился он, — сближения с поляками — не произошло. Поляков собралось в тот момент много: из Кракова, из герцогства Познаньского, из Лондона и Парижа. Все они приехали на съезд, чтобы решить судьбы дальнейшего польского движения.

Разногласий между ними было много, и съезд, по существу, ничем не кончился.

Бакунина все знали, с ним были любезны, говорили комплименты, но за этим стояла некая настороженность. Объяснялась она новой волной неблагоприятных слухов, распространявшихся, по его словам, главным образом поляками-эмигрантами. В такой обстановке Бакунин вынужден был предпочитать общество немецких демократов. «Немцы, — писал он, — играли в политику и слушали меня как оракула. Заговоров и серьезных предприятий между ними не было, а шуму, песней, потребления пива и хвастливой болтовни много: все делалось и говорилось на улице, явно не было ни законов, ни начальства: полная свобода, и каждый вечер, как бы для забавы, маленькое возмущение».[117]

Все это было слишком несерьезно и совсем не соответствовало твердой решимости Бакунина отдать все силы польскому и русскому движению. «Наконец, — пишет он, — стали говорить о Славянском конгрессе; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедову точку опоры для действий».[118]

Прага была одним из центров национально-освободительного движения, охватившего всю Австрийскую империю. После победы революции в Вене чехи обратились в правительство с петицией, требующей восстановления чешского королевства. В Праге создалось правительство во главе с Ф. Палацким, ставившее перед собой, однако, задачи чисто национальные, или скорее националистические.

Историк и политический деятель Франтишек Палацкий был лидером так называемого австрославизма — националистического движения, стремившегося не к разрушению Австрийской империи, а к господству в ней чешской национальности, «так что уж не немцы более и не мадьяры, — по словам Бакунина, — притесняли бы славян, но обратно».

Тем временем за свое национальное самоопределение выступили и венгерские славяне, собравшиеся на съезд в Загребе.

Вековое господство немцев в Австрии и мадьяр в Венгрии, угнетение ими славян давало теперь свои плоды. Славянское национальное движение не могло слиться с революционным движением немцев и мадьяр. Слишком горек был исторический опыт, слишком неразвиты были еще социально-экономические отношения в империи Габсбургов.

Общегерманское национальное собрание, состоявшееся во Франкфурте-на-Майне, выдвинуло свой план — включение всех владений Австрии в общегерманскую империю. Перед славянами возникла новая угроза подчинения немецкому господству. В этих условиях славяне и решили созвать съезд, чтобы сплотить свои силы и противостоять возможному порабощению.

Делегаты от чехов, моравов, словаков, русинов (украинцев), поляков, хорватов и сербов собрались в Праге 1 июня 1848 года. 340 делегатов съезда делились на 3 секции: чешско-словацкую, польско-русинскую и южнославянскую. Председателем съезда был Палацкий.

Приехав в Прагу и остановившись в отеле «Голубая звезда», Бакунин отправился в здание Чешского музея, на заседание съезда. Там он был зарегистрирован по польско-русинской секции и избран в члены дипломатического комитета.

Вместе с моравином Захом и поляком Либельтом он принял участие в составлении Манифеста к европейским народам. Документ этот провозглашал свободу всех народов и призывал к созыву общеевропейского конгресса.

Кроме Бакунина, в польско-русинской секции оказался еще один делегат, зарегистрировавшийся русским. Это был старообрядческий священник из великорусской колонии Белая Криница в Буковине — Алимпий Милорадов. При знакомстве с ним у Бакунина мелькнула мысль: «Употребить этого попа на революционную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой был человек хитрый, смысленый, настоящий русский плут и пройдоха... но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана действий, ни связей, а главное, не имел денег».[119]

При вступлении в секцию Бакунин произнес краткую речь, заявив, что Россия, отошедшая от славянских народов благодаря порабощению Польши, должна вернуться в славянское единство прежде всего через освобождение последней. Поэтому он как русский видит свое место на славянском съезде только между поляками.

Две недели, проведенные в Праге, были наполнены для Бакунина не только заседаниями, выступлениями, спорами, но и работой над серьезной статьей «Основы новой славянской политики», опубликованной (в сентябре 1848 г.) в журнале «Славянские летописи». В ней излагался утопический и мало конкретный, но демократический по идее план создания свободной славянской федерации, управляемой общеславянским советом.

Призывая славян к объединению в федерации, он в то же время в ряде выступлений на съезде пытался представить слушателям всю обманчивость их иллюзий по поводу возможной «свободы» в рамках Австрийской империи и призывал к разрушению ее, как к

необходимому условию подлинного освобождения славян.

Еще с большим пылом обрушился он на тех, кто видел возможного освободителя славян в лице русского царя. Вот как он сам передавал свои слова в «Исповеди»: «...Вам (славянам) нет места в недрах Русского царства: вы хотите жизни, а там механическое послушание. Желаете воскресения, возвышения, просвещения, освобождения, а там смерть, темнота и рабская работа. Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жизни и всякой свободы».[120]

Призывы Бакунина имели определенный успех лишь у части делегатов. Да иначе и не могло быть. Слишком неоднороден был состав съезда, слишком различны стремления делегатов.

Закончить работу съезду не удалось. 12 июня в Праге вспыхнуло восстание.

Выступления студентов, ремесленников и рабочих Праги были стихийными, но почва для них была подготовлена всем ходом национально-освободительной борьбы.

Поводом к восстанию стали новые полицейские правила, изданные командиром войск и начальником администрации князем Шварценбергом. Правила ограничивали демонстрации в районе музея, где заседал съезд.

Студенты, входившие в народную гвардию и несшие почетный караул на съезде, собрались на митинг и послали депутацию к фельдмаршалу князю Виндишгрецу с требованием отменить правила и выдать их легиону 60 тысяч патронов. Виндишгрец ответил отказом.

12 июня был праздник — день Святого духа. На обедню, которую служил священник на одной из площадей, собрались внушительные толпы народа. По окончании службы люди с пением направились по улицам. Когда они проходили мимо дворца Виндишгреца, оттуда выскочили солдаты и принялись разгонять шествие. Раздались первые выстрелы. Студенты и рабочие начали строить баррикады. Вскоре почти весь город был в руках восставших.

Правительственные же войска были по приказу Виндишгреца выведены из Праги и заняли позицию на возвышенностях вокруг города. 16 июня началась бомбардировка города, вызвавшая как разрушения, так и сильные пожары. На другой день восставшие сдались.

Ни о каком возобновлении работы съезда не было и речи. Часть делегатов разъехалась еще в начале восстания. Но Бакунин, конечно, остался.

О своем участии он пишет: «Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера: ходил с ружьем от одной баррикады к другой, несколько раз стрелял, но был, впрочем, во всем этом деле как гость, не ожидая от него больших результатов. Однако напоследок советовал студентам и другим участвовавшим свергнуть ратушу, которая (дня четыре) вела тайные переговоры с князем Виндишгрецем, и посадить на ее место военный комитет с диктаторской властью; моему совету хотели было последовать, но поздно; Прага капитулировала».[121]

Бакунин вернулся в Бреславль. Здесь его ждали новые неприятности. 6 июля «Новая Рейнская газета» поместила сообщение из Парижа, в котором говорилось: «По поводу славянской пропаганды нас вчера уверяли, что Жорж Санд имеет в своем распоряжении документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского М. Бакунина, которые изображают его как орудие или как недавно завербованного агента России и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчастных поляков. Жорж Санд показывала эти документы некоторым из своих друзей. Мы здесь ничего не имеем против славянского государства, но когда оно не создается посредством предательства польских патриотов» (т. III, стр. 305).

Казалось, чья-то злая воля упорно преследовала Бакунина как раз тогда, когда он направлял все усилия для сближения с поляками. Причем слухи, повторенные на этот раз авторитетной демократической газетой, приобретали, казалось, известное основание. Другое дело, что публикация подобного сообщения со ссылкой на Жорж Санд без всякой проверки, без разрешения самой писательницы была по меньшей мере бестактностью редакции.

Бакунин познакомился с Жорж Санд еще в Париже. Между ними установились хорошие отношения. Получив приказ покинуть столицу Франции, он написал ей, благодаря «за благосклонность и доброту», которые она ему всегда оказывала. И вот теперь это сообщение со ссылкой на бумаги, будто бы имеющиеся у писательницы.

Прочтя газету, Бакунин прежде всего взялся за перо, чтобы писать ей: «Я слишком Вас уважаю и считаю Вас слишком благородной и добросовестной, для того чтобы допустить, что Вы могли легкомысленно и, не будучи сама в этом убежденной, высказать против меня такое обвинение.

...Я предлагаю Вам немедленно опубликовать все те бумаги, которые меня якобы компрометируют, дабы я мог их опровергнуть. Я имею право требовать этого, так как, обвинив меня, Вы сами этим самым взяли на себя священную обязанность передо мною и перед общественным мнением доказать свои обвинения» (т. III, стр. 305).

Копию этого письма, а также объяснение для редакции Бакунин опубликовал во «Всеобщей Одерской газете», выходившей в Бреславле. «Новая Рейнская газета» перепечатала как протест Бакунина, так и последующий ответ Жорж Санд, отвергшей всякое свое участие в этой клевете. В личном письме к Бакунину Санд писала:

«Нет, никогда у меня не было в руках никаких обвинений против Вас, да я бы им и не придавала никакой веры, будьте в этом уверены... Статья „Новой Рейнской газеты“, которую я самым формальным образом опровергаю, представляет ни на чем не основанную возмутительную выдумку, которой я чувствую себя лично задетой. Я полагаю, что корреспондент, доставивший эту заметку, спятил с ума, если мог сочинить подобную нелепость на Ваш и на мой счет... Я выражаю Вам уважение и симпатию, каких Вы заслуживаете и какие я никогда не переставала питать к Вашему характеру и к Вашим действиям, примите же в них уверение в большей мере, чем когда-либо» (т. III, стр. 311-312).

Пока шла борьба за восстановление его честного имени, Бакунин жил сначала в Бреславле, затем в Берлине. К этому времени его деятельность стала сильно беспокоить царское правительство. Агенты III отделения за границей уже давно следили за ним. Донесения их часто были фантастичны, но, очевидно, на месте им верили. Так, еще в самом начале революционных событий во Франции русское посольство в Париже сообщало графу Орлову, что «Тургенев, Головин, Бакунин и Лавров находились в числе лиц польской депутации, которая представлялась временному правительству во Франции с поздравлением и изъявила готовность составить для национальной гвардии отдельный легион».[122]

Основанием для подобной информации послужил донос известного агента III отделения Я. Н. Толстого. Помимо примера заведомо ложной информации, донос интересен еще и упоминанием в связи с Бакуниным колоритной фигуры Лаврова. Это бывший священник русского посольства, с 1844 года ушедший со службы, но отказавшийся, ссылаясь на болезнь, вернуться в Россию. В Париже он согласно донесениям вел жизнь «самую безнравственную и, питая республиканские идеи», высказывал «ненависть не только к России и государю императору, но даже и к самой религии».

Об участии Лаврова в мифической депутации к Временному правительству и об отказе его вернуться на родину А. Ф. Орлов сообщил в Святейший синод гр. Н. А. Протасову, тот, в свою очередь, доложил о происшествии царю. В итоге Лавров был «извержен из духовного чина», а затем, как сообщал Протасов Орлову, дело о преступлениях его решено было «оставить без дальнейшего производства, по причине отсутствия его из России».[123]

Но если дело священника Лаврова можно было оставить без последствий, то дело Бакунина было совсем иным. И здесь русские посольства как в Париже, так и в Берлине старались как могли.

Следующий донос на Бакунина поступил, очевидно, в первых числах июня 1848 года. По крайней мере Орлов 6 июня сообщал уже всем губернаторам западных губерний о том, что согласно полученному им донесению «бывший российский чиновник, лишенный, за невозвращением из-за границы в отечество, всех прав состояния, Михаил Бакунин, находясь ныне в Вроцлаве, в Пруссии, подкупил двух польских выходцев... братьев Станислава и Антона Виговских отправиться в Россию с преступным намерением посягнуть на жизнь государя императора».

Бакунин, сообщалось далее, успел снабдить своих эмиссаров паспортами. Кроме того, он направил двух неизвестных поляков в Ригу, на случай путешествия императора в этот город.

Циркуляр о задержании Виговских в Санкт-Петербургской губернии дошел даже до сельских управлений и вызвал много толков. Губернаторы, опасаясь за жизнь императора, старались не на шутку. Донесения о ходе поисков двух злоумышленников и обо всех слухах, связанных с ними, составляют толстую папку.[124] Но поймать никого не удалось. Скорее всего злоумышленников не было вовсе, и уж во всяком случае, они не были посланы, да еще за большие деньги (как говорилось в донесении), Бакуниным. Но так или иначе, а материал этот был использован против Бакунина во время его пребывания в Берлине. Русский посол

Майендорф уже 15 июня посетил прусского министра иностранных дел и сообщил ему о преступных действиях Бакунина.

21 сентября Бакунин был вызван в Берлинскую полицию, допрошен и отпущен с условием немедленного отъезда из города.

На следующий день он снова направился в Бреславль. Но ни там, ни в Дрездене ему не удалось остаться. Единственный город Германии, из которого его не высылали, оказался Котен, где он временно и поселился. Но это не могло успокоить его противников.

4 октября Рохов сообщал, из Петербурга, что русское правительство не может сократить на прусской границе свои вооруженные силы ввиду тревожного состояния в Польше, а также ввиду того, что Мерославский и Бакунин пользуются в Пруссии свободой действий.

Так в общем одинокий, преследуемый всеми правительствами, ничем не вооруженный, кроме мужества и веры в революционное дело, человек стал пугалом для могущественного аппарата самодержавной России. Начался поединок, в котором, с одной стороны, была не партия, не «горстка героев», как во времена будущей «Народной воли», а один человек, а с другой — не одна монархия, а три: Россия, Пруссия, Австрия.

Славянский вопрос, все более поглощавший мысли и чувства Бакунина, стал для него теперь, во вторую половину 1848 года, единственной надеждой на спасение Европы от захлестывающих ее волн реакции.

Контрреволюция победила в Неаполе, Париже, Вене, Берлине. «...Падение Милана, война против Венгрии; вместо братского союза народов — возобновление Священного союза на более широкой основе под покровительством Англии и России»[125] — так характеризовал Ф. Энгельс политическую обстановку в Европе в феврале 1849 года.

Непосредственно наблюдая события в Германии, Бакунин не ждал ничего от страны, в которой «официальная реакция и официальная революция соперничают в ничтожестве и глупости». Особое раздражение его вызывали бесконечные и бесплодные парламентские дебаты. Под влиянием этой обстановки в августе 1848 года он писал Г. Гервегу: «Я не верю в конституции и в законы: самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить. Нам нужно нечто иное: порыв, и жизнь, и новый, незаконный, а потому свободный мир» (т. III, стр. 318).

В создании этого свободного мира большая, а в той обстановке, по его мнению, главная роль принадлежала славянам. Основным вопрос современности, считал он, состоял в следующем: «...Деспотическая Россия, усиленная славянами, задавит ли Европу и всю Германию или Свободная Европа с освобожденными и самостоятельными уже славянами внесет под покровительством Польши свободу в Россию?»

Обстановка вокруг славянского вопроса была чрезвычайно сложной. На пути национально-освободительной и революционной борьбы славян стояла не только сила реакции, стояла и национальная ограниченность лидеров славянского движения, не понимавших необходимость объединения всех революционных сил Европы, как славянских, так

немецких и венгерских. В это сложное для судеб революции время Бакунин понял, что, только объединившись, международные силы демократии смогут смести со своего пути реакционные правительства Европы. Эта идея и заставила его взяться за перо и написать свое «Воззвание к славянам».

Более месяца писал и снова переписывал он это обращение. Сохранившиеся черновые наброски говорят о разных редакциях документа. Большой интерес представляет обращение Бакунина в первом варианте «Воззвания» к социальной проблеме. Погруженный в борьбу за «свободу», которую он понимал весьма широко (как «полное и действительное освобождение всех личностей и всех наций, наступление политической и социальной справедливости... царство любви, братства»), он, как правило, не останавливался конкретно на проблеме освобождения пролетариата, отмене частной собственности, уничтожении эксплуатации. Однако предпринятая им в «Воззвании» попытка объяснить пути и судьбы революции 1848 года неизбежно подвела его к этой проблеме.

Но и здесь он смог ограничиться лишь декларацией, заявив, что социальный вопрос чрезвычайно труден, «преисполнен опасностей и чреват бурями» и что он не может быть разрешен «ни с помощью предвзятой теории, ни с помощью какой-либо отдельной системы» (т. III, стр. 340).

Если в области социальной воззрение Бакунина было расплывчатым, то в национальном вопросе он высказывался вполне определенно. Он предлагал славянам отбросить узконациональные рамки движения, включить в революционный союз мадьяр, подать руку помощи германскому народу. В тех условиях, когда в армиях, идущих походом против революционной Вены, преобладали славянские войска, призыв Бакунина был чрезвычайно актуален.

С большой убежденностью и страстностью звучал в «Воззвании» призыв к революции. «Оглянитесь вокруг: революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со своей разрушающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает общество до самых глубоких и темных слоев.

И революция не успокоится, пока не разрушит старого одряхлевшего мира и не создаст из него нового, прекрасного мира. Поэтому в ней и только в ней вся сила и крепость, вся уверенность в победе. Только в ней — жизнь; вне ее — смерть» (т. III, стр. 361).

Наибольшей силы революция достигнет в России, считал Бакунин. «В Москве будет разбито рабство соединенных теперь под русским скипетром славянских народов и всех вообще славянских народов, а вместе с тем и все европейское рабство, и навеки погребено под своим собственным мусором и развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве из моря крови и пламени созвездие революции и станет путеводной звездой для „блага всего освобожденного человечества“» (т. III, стр. 360).

«Воззвание» Бакунина было напечатано в Лейпциге отдельной брошюрой и довольно широко распространено в Германии, Чехии, Польше. Ф. Энгельс отозвался на «Воззвание» в «Новой Рейнской газете» статьей «Демократический панславизм».

«Бакунин — наш друг, — писал Энгельс. — Но это не помешает нам подвергнуть критике его брошюру».[126]

Справедливо упрекнув Бакунина в абстрактности его представлений о свободе, в отсутствии в его брошюре конкретных сведений о сложной политической действительности стран, связанных со славянским вопросом, Энгельс обрушил главные свои обвинения против того, что он называл «демократическим панславизмом». В этом вопросе он был не прав. Все славянские народы, за исключением поляков, представлялись ему контрреволюционными по своей природе, а потому призывы к объединению и совместной освободительной борьбе их против деспотизма выглядели в его глазах хотя и демократическими по форме, но панславистскими по существу.[127]

Историческая правда в этом споре была на стороне Бакунина. Ни один народ по своей природе не может быть контрреволюционным, что позднее и доказала марксистская теория национального вопроса. Панславизм же в любой его форме в эпоху революции 1848–1849 годов был чужд Бакунину. Борьба его «за революционный союз славянских народов, за совместную борьбу славян с немцами и венграми» была борьбой не панслависта, а революционера и демократа.

«Воззвание» Бакунина встревожило силы реакции в Австрии и России. Австрийские власти начали судебное преследование против брошюры и ее автора, обвинив его «в государственной измене».

В России Дубельт писал шефу жандармов графу Орлову: «Я с ужасом читал ядовитые возгласы Бакунина, и простите меня, ваше сиятельство, ежели осмелюсь сказать, что грешно будет нашим посольствам не употребить тайных стараний задержать его и доставить в Россию». На докладе Дубельта граф Орлов надписал: «Об этом лично я докладывал г. императору и сказал его величеству, что у меня не только духу не достало представить ему сих скверностей, но сам едва мог оные прочитать с омерзением» (т. III, стр. 535).

Сам Бакунин в общем был доволен успехом «Воззвания». В январе 1849 года он писал Гервегу: «Я проживаю теперь тайно в Лейпциге и работаю изо всех сил: моя цель заключается в том, чтобы оторвать славян от реакции, в которую ее бросили низость их предательских вождей, а равно как и недемократическое и государственническое настроение немцев и мадьяр. Моя работа оказывается не бесплодной, и теперь австрийское правительство преследует меня всевозможными способами» (т. III, стр. 371).

Наблюдая близко жизнь Германии 1848 года, видя низость и ограниченность ее буржуазных лидеров, равнодушие массы городского населения, он приходил к мысли, что лишь «анархическая крестьянская война» может спасти Германию. «Анархия, разрушение государств, все же скоро должна будет наступить», — писал он Герцену.

Вряд ли можно сказать, что подобные мысли свидетельствовали об анархическом кредо Бакунина. Анархистом он тогда не был. Но ориентация на мелкобуржуазные слои прослеживается в его выступлениях и письмах 1848–1849 годов. В отношении будущей

организации общества он был федералистом, рассматривая этот вопрос пока лишь в применении к славянским странам.

Основу для особого пути развития России и славянства Бакунин так же, как позднее и Герцен, видел в общинной организации крестьянского мира.

Ставка на крестьянскую общину как социалистический институт народной жизни была отличительной чертой революционно-демократической идеологии. Другие важнейшие черты этой системы взглядов: народная революция как путь социального преобразования общества, отстаивание права на самоопределение поработенных народов, бескомпромиссная борьба со всеми видами социального и национального гнета и прежде всего с крепостничеством и самодержавием — все то, что легло в основу программы русской революционной демократии 50—60-х годов, было в общей форме сказано Бакуниным в конце 40-х годов.

Свои взгляды на русскую революцию наиболее полно Бакунин изложил в анонимной брошюре «Русские дела».

Русская революция была главной, конечной его целью. Обосновать неизбежность ее считал он своей задачей. Однако теоретический багаж его в этом отношении был невелик. Характерно его признание на этот счет в «Исповеди»: «За границей, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к революции, — натягивая или обрезывая на прокрустовой кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятельство».[128]

Написать большую работу о России Бакунин собирался давно. Еще в Швейцарии в 1843 году этот вопрос стоял перед ним. Однако постоянные скитания, всегдашняя бурная и многогранная деятельность все время отвлекали его от этого намерения. События 1848 года и та позиция, которую он занял как теоретик славянского движения, настоятельно требовали его выступления. Необходимость подобной работы обуславливалась также той ролью, которую играла Россия в эпоху революции.

Один из участников Дрезденского восстания, проведенный в одной камере с Бакуниным некоторое время, Ф. Кюрнбергер, обосновывает появление брошюры о России именно ее международной ролью.

В борьбе между реакцией и революцией «обе стороны, — пишет он, — сражались не только своим собственным оружием, — в борьбе принимала участие тень, кажущаяся величина, призрак. Этой кажущейся величиной была Россия. Надежда на русский союз и страх перед русским нашествием — вот действительно один из решающих моментов в борьбе между революцией и реакцией. Бакунин верным глазом распознал это моральное положение. Он видел немецкую демократию, лишенную мужества и раздавленную перед этим призраком, он видел немецкую реакцию набирающейся гордости и силы при помощи все того же призрака». Он сделал попытку, «поскольку это было в его силах, заклясть злого волшебника, освободить немецкую грудь от невидимого, призрачного гнета».[129]

Возможно, что Кюрнбергер отчасти прав и Бакуниным, с одной стороны, руководило подобное намерение, с другой же стороны, он действительно натягивал на прокрустово ложе своих демократических желаний российскую действительность.

В итоге брошюра его преувеличивает слабость самодержавия и силы русских революционеров. Ничто, «никакие национальные, никакие религиозные узы не связывают народ с царем», — утверждает Бакунин. Единственная сила, на которую может опереться царь, — это армия, но и здесь уже не все спокойно.

Солдаты, прошедшие воинскую службу, являются в деревни и становятся вожаками крестьянских бунтов. А бунты и восстания все учащаются, причем значительную роль в них играют сектанты, преследуемые более других властями и церковью. «Русский народ вообще легко возбудим... и достаточно какой-нибудь небылицы, чтобы толкнуть его на выступление».

«Радикальная молодежь... пренебрегает государственной службой и стремится к народу, стараясь слиться с ним в деревне». Итак, Россия накануне революции. И это в 40-х-то годах! Поистине, революционный оптимизм Бакунина не знал преград.

Но, помимо преувеличений и фактических ошибок, в брошюре есть и другое: революционно-демократические взгляды Бакунина. Те самые взгляды, с которыми он вскоре не по своей воле сойдет с политической арены и с которым вновь спустя 12 лет появится в Европе.

Но вернемся к его деятельности эпохи «бури и натиска».

Год назад, в марте 1848 года, уезжал из Парижа в Германию, с тем чтобы потом оказаться ближе к границам России и поднять там польское движение, Бакунин, как говорилось выше, не имел ни определенных, конкретных планов, ни достаточных средств, ни связей. Теперь за исключением денег у него было все, и прежде всего десятки людей, главным образом в славянских странах, готовых следовать его революционным планам.

Был и конкретный план революции, исходным пунктом которого стала Богемия (часть современной Чехословакии — Чехия, входившая тогда в состав Австрийской империи). На Богемии Бакунин решил остановиться потому, что там вследствие сохранившихся во всей тяжести феодальных повинностей легче было поднять крестьян.

Богемское восстание должно было далее слиться с революцией в Германии. Общей революционной волной должна была быть захвачена Венгрия. Польское же и русское движение мыслилось как естественное продолжение европейской революции.

В плане богемской революции Бакуниным предусматривался ряд конкретных мер, весьма напоминавших казарменно-коммунистические идеи Вейтлинга.

После победы революции, уничтожения всех замков, правительственных учреждений и долговых бумаг революционное правительство, облеченное «неограниченной диктаторской властью», должно изгнать и уничтожить всех «противоборствующих», за исключением некоторых чиновников из главных, оставленных для совета и статистических справок.

«Уничтожены также все клубы, журналы... Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю для того, чтоб дать ему провизорную революционную и воинскую организацию».[130]

План этот для Бакунина уникален. Не будучи еще анархистом, он тем не менее не высказывал ни ранее, ни позднее этого пристрастия к «неограниченной диктаторской власти», а также к строгой регламентации жизни общества. Возможно, что подобная постановка вопроса обуславливалась самой логикой борьбы, необходимостью иметь какие-то твердые установки на случай скорой победы, в которую он верил.

Однако не утопичность теоретических построений Бакунина в это время, а именно его колоссальная организаторская деятельность сделала его одной из центральных фигур революционной борьбы, развернувшейся весной 1849 года в Богемии и Саксонии.

Из Лейпцига, где он опасался ареста после преследования, возбужденного против него властями в связи с его «Воззванием к славянам», Бакунин направился нелегально в Дрезден. Этот город был выбран им также и потому, что благодаря своим многочисленным связям с дрезденскими демократами он мог благополучно скрываться там и одновременно следить за ходом событий в Богемии.

Первые несколько дней он жил у Карла Августа Реккеля. Директор саксонской музыкальной капеллы и издатель «Народного листка», человек демократических, революционных убеждений, Реккель близко сошелся с Бакуниным.

Позднее Реккель писал о Бакунине: «Как человеку редкой силы духа и твердости характера, соединенных с импонирующей внешностью и увлекательным красноречием, ему везде легко удавалось поднимать настроение молодежи до энтузиазма и увлекать за собою даже более зрелых людей, тем более что его воззрения, свободные от национальной ограниченности, проникнуты были благороднейшим и широчайшим гуманизмом. Но именно его пылкая фантазия в соединении с бессознательным честолюбием богато одаренной натуры, чувствовавшей себя призванной к тому, чтобы руководить и повелевать, часто толкала его к самообману насчет действительного положения вещей. Его ближайшим стремлением было объединение славянской и немецкой демократии против русского царизма, тогдашней главной опоры абсолютизма; а его многочисленные личные связи с единомышленниками во всех областях Австрии, равно как в Польше и России, заставляли его считать достижение этой цели гораздо более близким, чем оно является и по сей день» (т. III, стр. 505).

В отношении «самообмана» и его причин Реккель, очевидно, прав. Однако и он переоценивал возможности Бакунина, считая фактом наличие у него многочисленных единомышленников в России.

Таких просто не было. Но в Европе по тем масштабам борьбы их было не так уж мало. К тому же сила убеждения и личное обаяние его были таковы, что всегда под рукой у него оказывались люди, готовые идти вслед за ним или ехать с его весьма опасными поручениями в другой город или страну, сражаться, а порой и гибнуть в тюрьмах или на

баррикадах. Другое дело, что порыв, часто увлекавший этих людей, не всегда выдерживал испытаний, но на первых порах все шло так, что давало повод Бакунину верить в неотразимость своих идей, планов, акций.

Так и теперь студенты Иосиф Фрич, братья Густав и Адольф Страка, Геймбергер; поляк, сведущий в военном деле, Иосиф Аккорт стали эмиссарами Бакунина в Праге, приняв нелегкую миссию подготовки восстания на месте.

Сведения, получаемые из Праги, в середине марта потребовали, по мнению Бакунина, его присутствия.

В своих воспоминаниях Рихард Вагнер не без иронии описал эту поездку Бакунина: «Когда ему показалось, что час восстания настал, он однажды вечером начал готовиться к небезопасному для него переезду в Прагу, раздобыв паспорт английского купца. Ему пришлось остричь бороду, и обрить свои великолепные кудри, и придать себе филистерски культурный вид. Так как пригласить парикмахера было нельзя, Реккель принял дело на себя. Операция эта была произведена в присутствии небольшого кружка знакомых тупой бритвой, причинявшей величайшие муки. Пациент сохранял невозмутимое спокойствие. Отпустили мы Бакунина в полной уверенности, что живым больше его не увидим. Но через неделю он вернулся обратно, убедившись на месте, как легкомысленны были доставленные ему сведения о положении дел в Праге: там к его услугам оказалась кучка полувзрослых студентов».[131]

Вагнер не точен. Студенты действительно составляли большинство адептов Бакунина в Праге. Но были там и вполне взрослые люди, члены демократической чешской организации «Славянская липа», явившиеся к нему на совещание по поводу организации восстания.

Среди них можно назвать и ранее привлеченных плаком Бакунина издателя «Известий Славянской липы», политического деятеля и писателя Карла Сабину,[132] известного публициста и политического деятеля, лидера левого крыла «Славянской липы» Эммануила Арнольда, журналистов и редакторов демократических изданий: Вильгельма Гаука, Винцента Вавру, Яна Кнедльганса, Люблинского, депутата австрийского рейхстага Франтишека Гавличека и др.

И хотя в среде этих людей не было полного единомыслия, однако основания для веры в серьезность их намерений у Бакунина могли сложиться.

После его отъезда в апреле 1849 года в Праге была создана тайная группа, действовавшая в духе указаний Бакунина. Велась пропаганда между немецкими и чешскими студентами и ремесленниками, обсуждались вопросы, связанные с распределением обязанностей в момент захвата власти, намечались стратегические планы.

Решающее условие победы Бакунин видел в преодолении национальных границ движения; поэтому революционный союз чехов и немцев был наиболее важным моментом его планов. Агенты Бакунина в Праге немец Оттендорфер и чех Г. Страна во многом помогли созданию первых смешанных чешско-немецких организаций.

Находясь в Дрездене, Бакунин пытался держать в руках все нити пражского заговора. 30 апреля через Реккеля он послал в Прагу письмо и записку К. Сабине и Э. Арнольду, он писал, что «податель сего письма Реккель», вполне надежный и дельный человек, едет, чтобы сговориться об объединении чешского и немецкого движения. «Нам нельзя упускать времени, — его очень немного в нашем распоряжении, — чтобы все подготовить. Если в ближайшем будущем не вспыхнет восстание, то придут русские, так как реакция в Европе действует по одному плану, а Россия — опора всех реакционных предприятий» (т. III, стр. 397).

Записка И. В. Фричу и братьям А. и Г. Страка была предельно лаконична. «Милые друзья, вам уже известен податель этой записки, — окажите ему полное доверие. Он является к вам по моему поручению. Ваш Максимилиан».

Документы эти потом, во время следствия, стали серьезной уликой против Бакунина, пока же они сыграли свою роль, активизировав действия чешских демократов.

Торопя заговорщиков с выступлением, Бакунин собирался сам отправиться туда, где, по его мнению, был решающий очаг борьбы.

Пока в Праге шли приготовления, в Дрездене вспыхнуло восстание. Получив известия об этих событиях, заговорщики назначили выступление на 12 мая. Но 9 мая начались аресты. Организация была разгромлена. Выступления не состоялись.

Дрезденские события, спутавшие все карты в планах Бакунина, начались в первых числах мая и ознаменовались широкими народными демонстрациями. Повод был тот, что саксонское королевское правительство, не признав имперскую конституцию, принятую 12 апреля франкфуртским парламентом, назначило открыто реакционное министерство.

За конституцию высказались: городская администрация, гражданское ополчение и рабочий союз. Король продолжал упорствовать. В речах ораторов, на страницах «Дрезденской газеты» появились прямые призывы к восстанию. 3 мая произошли первые столкновения между толпой, осаждавшей арсенал, и войсками. Вслед за этим рабочие стали строить баррикады. Король обратился за помощью к Пруссии, но, не дожидаясь прибытия прусских войск, бежал в крепость Кенигштейн. 4 мая было создано временное правительство из двух представителей конституционной партии, окружного начальника Гейбпера и статского советника Тодта, и представителя демократической партии адвоката Чирнера.

Один из участников событий, С. Борн, назвал членов временного правительства «либеральными немецкими мещанами, взявшими на себя опасные функции не без внутренней борьбы».

Вплоть до 4 мая Бакунин не верил в серьезность происходящих событий. Его все еще влекли лишь богемские дела, он стремился только в Прагу.

В черном фраке, с неизбежной сигарой во рту он бродил по запруженному возбужденными толпами городу. На одной из улиц он встретил Вагнера. «Я был уверен, — вспоминает последний, — что дрезденские события должны его наполнить восторгом. Оказалось, что я

ошибся. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности. При этом для себя лично он усматривал только одно удобство, возможность не прятаться от полиции и спокойно выбраться из Дрездена. Дело не казалось ему столь серьезным, чтобы побудить его принять в нем личное участие».[133]

Однако уже на другой день Бакунин вынужден был изменить оценку положения в городе и решить свою позицию в восстании. Говоря о своих колебаниях на этот счет в «Исповеди», он писал: «Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался: оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. Я был главным и единственным зачинщиком Пражского, как немецкого, так и чешского заговора, послал братьев Страну в Прагу и подверг в одной многих явной опасности, поэтому не имел права сам избегать опасности».[134]

Но скорее всего Бакунин остался потому, что не мог поступить иначе. Революция, где бы она ни возникала, всегда была его личным делом. Так стало и на этот раз. Да и мог ли он оставить дрезденских демократов, которые спрашивали его советов, нуждались в его помощи.

Среди тех, кто был близок с Бакуниным в эти дни в Дрездене, были Реккель, композитор Рихард Вагнер, которому импонировали как идеи Бакунина, так и его музыкальная одаренность; был здесь и старый знакомый Бакунина (с 1842 г.) Людвиг Виттиг — один из редакторов «Дрезденской газеты», находившейся под большим влиянием Бакунина, и Леон Цихлинский — офицер и демократ, сыгравший большую роль в присоединении к восстанию муниципальной гвардии.

Немецких друзей Бакунина поражала его необычная натура. «Все в нем было колоссально, — писал Вагнер, — все веяло первобытной свежестью... В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо, он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина (Реккеля. — Н. П.), мог дискутировать с людьми различных оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливающихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайной уверенностью, справиться было невозможно».[135]

Но, несмотря на все свои «страшные» речи, Бакунин, по словам Вагнера, отличался «тонкой и нежной чуткостью», а «антикультурная дикость» сочеталась в нем с «чистейшим идеализмом человечности».

Среди группы интеллигентов-демократов, нерешительных и колеблющихся, лишь волею случая оказавшихся во главе восстания, Бакунин, бесспорно, играл весьма крупную роль.

Для того чтобы успешно организовать оборону, по словам Реккеля, нужен был «революционный гений», который к тому же знал бы тактику уличного боя. Подобными достоинствами Бакунин не обладал, но как честный человек, взяв на себя определенные и весьма нелегкие обязанности, он выполнил их до конца.

Попробуем восстановить картину событий, начиная с 4 мая, когда Бакуниным было принято решение не покидать Дрезден.

Сославшись на просьбу Чирнера принять участие в обороне города, он, однако, не захотел стать главнокомандующим силами повстанцев, посоветовав пригласить для военного руководства двух сведущих в этом поляков: Гельтмана и Крыжановского.

5 мая поляки вместе с Бакуниным обосновались в ратуше, в комнате, где заседало временное правительство.

Угол, занятый и все последующие дни этим генеральным штабом восстания, был отгорожен железными ширмами. Здесь и решались все стратегические и тактические задачи.

Штаб принялся за работу. Прежде всего была предпринята попытка разработать планы атаки на правительственные войска, но в связи с недостатком сил пришлось ограничиться мерами обороны. Бакунин вместе с помощниками составил «Регламент распорядка на баррикадах», который и был сообщен начальникам баррикад, отдавал распоряжения о занятии или укреплении того или иного пункта, о доставке и раздаче боеприпасов, распределял доставленные из Бурга пушки, принимал меры к отражению предполагавшейся на следующий день атаки на Замковой улице.

В самом начале восстания необходимо было захватить королевский дворец — огромное сооружение, господствующее над значительной частью города и являющееся ключом к старой его части. Этого сделано не было. Тогда будто бы Бакунин предложил взорвать дворец. Это решение вызвало сопротивление бургомистра, опасавшегося, что пострадают и другие дома. По рассказу Гейбнера, Бакунин, «спокойно попыхивая сигарой, ответил: Э, что дома — теперь они только для того и годятся, чтобы быть сожженными». План взрыва был принят. Приглашенные для этой цели горняки согласились окружить дворец подземным ходом. Начали действовать, но вскоре обнаружилось, что нет достаточного запаса пороха, а подземные ходы гарнизон дворца залил водой. План сорвался.

Имел ли этот эпизод действительно место, сказать трудно. По крайней мере на следствии Бакунин отрицал его, но ведь то было на следствии... Психологически подобный ответ Бакунина вполне допустим. Менее в этом смысле допустима, пожалуй, весьма популярная легенда, выдаваемая А. И. Герценом за действительный факт, о том, что Бакунин посоветовал руководителям восстания выставить на городские стены «Мадонну» Рафаэля и сообщить прусским офицерам, что, стреляя по городу, они могут испортить бессмертное произведение искусства. «Немцы, — говорил будто бы Бакунин, — получили слишком классическое образование, чтобы стрелять по Рафаэлю».

Впоследствии (в 70-х гг.) эта легенда кем-то вспомнилась в присутствии Бакунина, причем он не стал отрицать ее.

Но вернемся к событиям 6 мая. В этот день Бакунин с Гейбнером сами направились на баррикады. Они обошли весь город, причем Гейбнер, как человек известный и популярный среди защитников баррикад, выступал кое-где с речами, а Бакунин давал конкретные указания по организации обороны.

Еще в начале событий временное правительство обратилось к другим городам Саксонии с призывом о помощи. 5 мая из Хемница пришли отряды механиков и горнорабочих, привезя с

собой четыре пушки. Вечером 5-го числа Бакунин осмотрел пушки, утром 6-го они должны были быть установлены в соответствующих местах.

Однако это распоряжение, да и многие другие, не выполнили быстро и точно, как того требовала весьма напряженная обстановка. Большую путаницу в дело вносил подполковник Гейнце, который непосредственно на улицах должен был руководить баррикадными боями.

Заняв, по словам Бакунина, место начальника национальной гвардии, Гейнце или предпринимал попытки не согласованных с Бакуниным действий, или не выполнял его прямых требований.

Поведение Гейнце настолько возмущало Бакунина, что в «Исповеди» он изобразил его главным виновником военных неудач восстания. В то время как он (Бакунин) делал все, что мог, чтобы спасти «погубленную и, видимо, погибающую революцию, не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился со всех сил... Собирали несколько раз начальников баррикад, старались восстановить порядок, собрать силы для наступательных действий; но Heinse разрушал все мои меры в зародыше, так что моя напряженная лихорадочная деятельность была все». [136]

Но дело, конечно, было не только в Гейнце. Почти все руководство восстанием оказалось не на высоте. Прежде других покинули свой пост Гельтман и Крыжановский. 6 мая, видя, что силы повстанцев тают, что шансов на успех нет никаких, а главное, что дрезденское восстание ничем не может помочь польскому делу, оба соратника Бакунина, не предупредив его, исчезли из города. С 7-го Бакунин остался единственным человеком среди руководителей, что-либо понимающим в военном деле.

В работе «Революция и контрреволюция в Германии» Маркс и Энгельс называли Бакунина «спокойным и хладнокровным вождем» восстания. Об «удивительном хладнокровии» Бакунина пишет и Вагнер. И действительно, в самые тяжелые дни, 7—9-го числа, Бакунин проявил большую выдержку и мужество.

После того как стало известно, что к войскам короля саксонского присоединились прусские полки, что боеприпасы повстанцев почти исчерпаны, паника охватила членов правительства. Чирнер начал собирать и жечь официальные документы, а затем так же, как поляки, исчез из города. Еще ранее его бежал Тодт. Перед Гейбнером и Бакуниным — последними представителями руководства — встал вопрос, что же делать дальше. По показаниям Бакунина, Гейбнер заявил, что после своих выступлений перед восставшими «ему совершенно невозможно бежать и что он должен выдержать до конца. Я поддержал Гейбнера в этом намерении и заявил ему, несмотря на его предложение дать мне денег для бегства, что я останусь и выдержу с ним до конечного исхода дела, хотя, пожалуй, мне приходилось более других опасаться в качестве иностранца и русского».

Ночью с 7-го на 8-е к Бакунину явился Гейнце и сообщил, что утром предполагается общий штурм позиций повстанцев, который защитники баррикад не смогут выдержать. Бакунин предложил прорыв и направил Гейнце на разведку. Однако обратно тот не вернулся, так как попал (или сдался) в плен. Тогда в ратушу на совет были созваны все начальники баррикад.

Один из них, Стефан Борн, предложил произвести атаку на противника и тут же единогласно был избран командующим вместо Гейнце. Но план атаки осуществить не удалось. 8-го, после того как прусские войска заняли часть улиц Дрездена, Бакунин и Борн стали разрабатывать план выхода повстанцев из города. Зайдя в этот день в ратушу, Вагнер увидел, что среди общей растерянности «один только Бакунин сохранял ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрасов, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту».[137]

Необходимость отступления Бакунин не связывал еще с полным поражением. Он рассказал Вагнеру, что дрезденские позиции мало пригодны для продолжительной борьбы и что есть смысл отступить в район Рудных гор, рабочее население которых и стекающиеся туда вооруженные отряды помогут повстанцам.

Рано утром 9-го согласно разработанному плану началось организованное отступление. Во время остановки в Фрейберге между Бакуниным и Гейбнером разгорелся спор. Гейбнер настаивал на том, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и предлагал распустить отряды, но Бакунин убедил его в необходимости до конца остаться с восставшими и в случае поражения умереть. Следующим городом на их пути был Хемниц.

Вечером, сев в экипаж вместе с Гейбнером, Бакунин немедленно заснул и разбужен был лишь вооруженной охраной у ворот Хемница. На вопрос, кто они такие, Гейбнер назвал себя и, сказав, что едут они в гостиницу, попросил пригласить туда представителей городской власти. Ожидаемого Гейбнером восторженного приема не произошло. Напротив, вооруженные мещане смотрели на него весьма враждебно. Стража проводила путников до дверей гостиницы, а явившийся бургомистр потребовал их немедленного удаления. Гейбнер отказался. Измученный до предела Бакунин смог бросить лишь одну фразу: «Идем спать». Ночью в гостиницу ворвались жандармы. Арестованные Бакунин и Гейбнер попросили, чтобы им дали возможность несколько часов поспать, сказав, что сейчас о бегстве не может быть и речи.

Утром иод сильным военным эскортом они были доставлены в дрезденскую тюрьму.

«Саксонская следственная комиссия, — писал Бакунин, — удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попытку для своего освобождения. И в самом деле, можно было вырваться из рук бюргеров, но я был изнеможен, истощен не только телесно, но и нравственно и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся... что меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства».[138]